

Е. А. БУНИН

РАСКОПКИ ДАЛЕКОЙ ТЕМНОЙ СТАРИНЫ

Предисловие и публикация Л. К. Кувановой

Евгений Алексеевич Бунин (1858—1935) — брат писателя. Детство и юность его прошли в деревенских захолустьях Орловской и Тульской губерний — на хуторах, принадлежавших Буниным. Оставив гимназию, которую не закончил, он жил с родителями в Озёрках и принимал участие в ведении хозяйства.

Еще в гимназии Евгений Алексеевич проявил незаурядные способности к рисованию. «Он погубил свой недюжинный талант художника-портретиста,— вспоминала В. Н. Бунина,— но если вдуматься в его жизнь, можно объяснить и понять. Образования у него не было, юность он провел в деревне; от природы он был одарен образным мышлением, наблюдательностью, имел здравый смысл. Пока был молод, он по-бунински оставался беспечен, но с годами, присмотревшись к хозяйству, понял, что отца не переделаешь, что в будущем грозит полное разорение <...> Дума была одна: стать помещиком!» («Жизнь Бунина», стр. 80).

Возвратясь с военной службы, Евгений Алексеевич взял на себя все хозяйство, но его попытки спасти отцовские Озёрки не имели успеха. Он открыл лавку, а в начале 1890-х годов приобрел в собственность последнее имение семьи — Огневку в Тульской губернии (здесь нередко гостил у него брат Иван). Продав в 1906 г. Огневку, Евгений Алексеевич поселился в Ефремове, где прожил до конца жизни, занимаясь портретной живописью, а последние годы преподавал рисование в школе. Здесь, в Ефремове, в октябре — декабре 1932 г. Е. А. Бунин писал свои записки.

Мысль писать мемуары появилась у него внезапно, под впечатлением возникшего в памяти эпизода, некогда рассказанного отцом, и была продиктована желанием занять чем-нибудь долгие осенние вечера (см. ниже, стр. 226). Однако почти сразу явилась другая цель: «пишу исключительно для брата моего Вани», — заявляет мемуарист, а 4 октября <1932 г.> пишет Н. А. Пущешникову: «Мне кажется, <если> этот сырой материал <...>, наброски, эпизоды попадут к Ване, то много можно извлечь интересного для его биографии в связи вообще с нашей семьей и той деревенской нашей хуторской жизнью <...> Я думаю, что он будет весьма и весьма доволен, тем более, все это воскресит ему все прошлое, милое, родственное» (ГМТ, ф. 14, № 3353/3).

Предположение автора, что его записки могут представить интерес для младшего брата, имело основание. Наделенный даром наблюдательности, Евгений Алексеевич хорошо знал быт мелкопоместного дворянства, к которому сам принадлежал, а также жизнь русской деревни. Бунин живо интересовался рассказами брата, особенно в пору, когда разрабатывал замысел «Деревни»: «Много было разговоров и с родными, что ему хочется написать длинную вещь,— вспоминает В. Н. Бунина,— все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пущешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором» («Беседы с памятью», гл. «Возвращение домой»).

Публикуемые воспоминания в известной мере подтверждают эту характеристику,— в памяти мемуариста действительно сохранился немалый «запас наблюдений» над нравами среды, в которой прошла ранняя юность Бунина. Писались они бессистемно и состоят из отдельных, не связанных между собой эпизодов, многие из которых повторяются. Однако несмотря на то, что автор не умеет построить повествование,

совершенно не владеет литературным языком и сам сознает, что его записки всего лишь «сырой материал», они представляют несомненный интерес. Это единственное дошедшее до нас свидетельство непосредственного очевидца детских и юношеских лет Бунина, свидетельство человека, выросшего в той же среде, что и будущий писатель.

«Раскопки далекой темной старины» повествуют о некоторых эпизодах детства Бунина, характеризуют людей, среди которых он рос, содержат сведения об истории семьи писателя. Главная же их ценность заключается в том, что они дают яркое представление об обстановке, окружавшей Бунина в детские и юношеские годы. Здесь ощущается атмосфера бунинского «Суходола», многие из описанных мемуаристом лиц послужили прототипами ряда персонажей этой повести и некоторых бунинских рассказов: помещанная тетка Варвара Николаевна (тетя Тоня в «Суходоле» и Олимпиада Марковна в очерке «„Шаман“ и Мотья»), дядя Петр Николаевич (Петр Петрович в «Суходоле»), бывший отцовский денщик (Ковалев в рассказе «В поле», ранее называвшемся «Байбаки»).

Рассказы Евгения Алексеевича о его дружбе с крестьянами, об участии в деревенской «улице» и деревенских свадьбах не только характеризуют быт мелкопоместного дворянства, жизнь которого переплеталась с деревенским бытом. Они могут служить также иллюстрацией к биографии самого Бунина: известно, что в юности он, так же как и брат, ходил «на улицу», на деревенские посиделки и свадьбы, и его первые впечатления о жизни крестьянства почерпнуты из того же источника, к которому обращается автор мемуаров. Некоторые эпизоды, рассказанные мемуаристом, — например, обряд «опаживания» или деревенская свадьба, — подтверждают, что Бунин должен был сам видеть в Озёрках и знать эти обряды, описанные им в «Деревне», что многие из песен, выписанных им из сборника П. В. Киреевского (см. настоящ. том, кн. 1, стр. 404, № 21), пелись в Озёрках, а значит, были ему знакомы. По-видимому, знал он и тех крестьян, о которых рассказывает его брат. Так, например, герой рассказа «Князь во князьях» во многом напоминает Данилу Сисина, описанного в мемуарах Евгения Алексеевича. Не поваслышке были известны Бунину и темные стороны крестьянского быта, в частности тяжелая участь женщины. Недаром некоторые эпизоды «Деревни» и «Веселого двора» совпадают с рассказами его брата об истязаниях, которым нередко подвергались женщины в семьях озёрских крестьян.

«Раскопки далекой темной старины» представляют собой тетрадь большого формата в картонном переплете, исписанную карандашом (л. 1—6) и чернилами (л. 6 об. — 36 об.). Карандашные записи — черновик, текст которого с некоторыми изменениями переписан на последующих листах. Все записи имеют даты, соответствующие дням, в которые они делались (крайние даты: 9 октября — 3 декабря 1932 г.). Вторая половина тетради вырвана. Были ли завершены воспоминания — неизвестно.

После смерти Е. А. Бунина тетрадь оказалась у одного из его знакомых, фамилия которого неизвестна. В 1935 г. он отдал ее некоему Д. Л. Саперу. В октябре 1943 г. Сапер, живший тогда в Архангельске, отправляясь на фронт, передал тетрадь в Архангельский краеведческий музей с просьбой переслать ее в ИМЛИ, где она и хранится в настоящее время (ф. 3, оп. 2, ед. хр. 40).

При подготовке к публикации воспоминания были подвергнуты литературной правке и сокращению: опущены многочисленные повторения, выпущены неясные места, а также эпизоды, не имеющие отношения к Бунину (в частности те, которые касаются исключительно самого мемуариста). Ввиду фрагментарности записок, эти пропуски не нарушают характера и последовательности повествования, а потому специально не оговариваются.

Все, о чем я хочу писать, уже отошло в предание. Нового я, конечно, ничего не скажу, немало уже было написано про деревню, нравы и обычаи крестьян и мелкопоместных дворян, которые, кстати сказать, мало отличались от них своей некультурностью. Но я, со своей стороны, хочу восстановить в памяти, не прибавляя никакого вымысла, совершенно достоверные эпизоды. Пишу исключительно для брата своего Вани, касаюсь

его детства и юности, а также своей молодой, незатейливой и мало чем интересной жизни. Мои детство и молодость прошли в захолустных, заросших хлебами и бурьянами хуторах моего отца. Были просветы, когда мы уезжали на зиму в город, где учились, но все-таки деревенская жизнь оставила у меня глубокие и сильные воспоминания и впечатления.

Что навело меня на мысль писать про свою давно прошедшую жизнь? Я вспомнил рассказ покойного отца, как он однажды, еще молодым человеком, охотился на болотах близ села Коромышева и зашел отдохнуть в один зажиточный крестьянский двор, где обратил внимание на старика, сидящего близ печи. Старик этот, весь заросший волосами сизо-зеленого цвета, ел из деревянной чашки что-то. Отец мой, подойдя к нему, хотел с ним поговорить, но одна из баб говорит ему: «Нет, он так не услышит, вы кричите ему на ухо». Усилив голос, отец стал его расспрашивать: «Сколько тебе, дедушка, лет?» — Он услышал и говорит: «Давно, давно живу, уж хорошенько не запомню, но все-таки припоминаю, что вот 122-й годок пошел. А ты кто такой?» — Отец ему сказал: «Я, — говорит, — Бунин». — Тогда старик как бы обрадовался: «А, помню, ты — Дмитрий Семенович». — «Нет, — сказал отец, — я ему внук и его не знал. Ну вот скажи, пожалуйста, дедушка, ты ничего не видишь (действительно, глаза его, какого-то зелено-бутыльного цвета, хотя смотрят, но ничего не видят) и не слышишь, так что ж тебя интересует в жизни?» «Да, говорит, батюшка ты мой, только и живу прежней жизнью, воспоминаниями и, главное, снами — вижу себя молодым, как мы играли, ходили на улицу, бились на кулачках, а был я из всего села первый боец, ну, вот моя жизнь во мне воскресает, и я целый день весел».

Начиная свои воспоминания с самого раннего моего детства, не помню, где мы тогда жили, хотя знаю, что я родился в деревне Каменке Елецкого уезда. Сохранилась в моей памяти наша короткая жизнь у матери моей на ее хуторе Огневке, здесь жила у нас или скорее гостила тетка моего отца, старая сумасшедшая девица Ольга Дмитриевна. Помню, все она, бывало, бьет себя в грудь и говорит, что в нее вселился какой-то «тартарник», волнуется, то плачет, то поет, приплясывая: «Лучше я была бы подушечка, лучше я была бы лягушечка, лучше я была бы зверушечка» и т. п. Жила же она, обыкновенно, на своем хуторе Бутырки, верстах в семи от нас, где у нее был свой флигель. Была она очень богомольна, читала много священных книг, ездила по монастырям. У нее, хотя маленькая, но все же была дворня и, по обыкновению, крепостные девицы занимались рукодельем. Она очень не любила их выдавать замуж и рещалась выдать только какую-либо провинившуюся, которая становилась неестественно полной, за кого попало, почти обязательно за дурака.

Материн хутор отец продал ближайшему соседу Логофету, и нам пришлось уезжать оттуда. Мне было в то время три года, а брату Юлию — четыре. Помню, нам с Юлием очень не хотелось уезжать, помню, как нас одевали и завязали, как снопы, с растопыренными ручонками, и как сбрасывали с трубы кирпичи, но далее я уже не знаю, куда нас повезли, кажется, к тетке Варваре Николаевне. Потом жили у бабушки Чубаровой.

У нас еще был маленький братишка Анатолий, и за ним ходила кормилица Наталья. Она была в то время солдатка. Как-то, в отсутствие моих родителей, появился из солдат ее муж пьяный, начал к ней придирааться и хотел ее ударить. Она, думая, что он не дерзнет ее с ребенком бить, поставила ребенка, а он размахнулся, удар пришелся по ребенку, тот закатился неистово. Всё это скрыли. Мать моя приехала и не могла понять, отчего мальчик так кричит, а кормилица не сказала. Его нельзя было ничем унять. Послали за фельдшером, тот осмотрел и сказал, что у него перелом ключицы. Повезли его в Елец, но было уже поздно. Мать его день и ночь



Е. А. БУНИН и Н. К. БУНИНА С ДЕТЬМИ

Фотография. Ефремов, начало 1930-х годов

Парижский архив Бунина

носила на руках, так что, помню, все плечо у нее было черное. Он, бедный, страшно страдал (мы жили в Ельце), и как грустно было слышать, когда несчастный плакал. Мать так, бедная, плакала, что, я думаю, не ручьи, а реки слез пролила. Конечно, он скоро скончался в муках.

После похорон Тони мы переехали на хутор Бутырки, который достался моему отцу после смерти бабушки Ольги Дмитриевны. Здесь строился дом, а пока мы жили во флигеле покойной бабушки (мне было шесть лет). Там был небольшой заросший садик, и мы там играли.

Вспоминаю, хотя очень смутно, некоторых приживальщиков и приживальщиц, которые кочевали по нашим мелкопоместным дворянам, живали, конечно, и у нас. Например, припоминаю некоего Николая Ивановича Переверзева, довольно оригинального субъекта. Это был пожилой человек, который корчил из себя при случае сумасшедшего, да ему это было необходимо, так как он был выпущен из тюрьмы. Не знаю, за какое преступное дело был он посажен в тюрьму, кажется, за деторастление. Он был в каком-то уездном городе городничим, но это дело лишило его должности и прав состояния. Он коротко стригся, усов и бороды не носил, имел довольно изрядное брюшко, ходил всегда в темно-зеленом фраке с ясными пуговицами, с орденами и звездами из золотой бумаги и всегда носил на пуговице фрака два маленьких пузырька, наполненные один розовой, другой — зеленой жидкостью. На вопрос, что это за пузырьки и с чем они, отвечал, что это у него живая и мертвая вода — необыкновенное целебное средство. За собой он очень ухаживал, брился часто, пудрил, и мы подсмотрели, как, запершись перед зеркалом, мазал свой еж свечным салом, а потом жженой пробкой. Был чрезмерно любезен с женским полом, говорил стихами собственного произведения и экспромтами. Была у него собственная, тоже особого какого-то наречия грамматика. Когда он уходил от нас, то нагружался очень большими узлами, в которых были всевозможные разноцветные бумажки, коробочки, пузырьки, цветные стеклышки и прочая бутафория; для чего это, не знаю, но он говорил, что это все ему более важности придает и уважения.

На вечерах, праздниках, в особенности на святках, у нас часто фигурировали ряжеными две-три какие-то странные личности, например, огоролник Василий Кириллович. У него была большая борода лопатой, причем говорил он тонким, совершенно женским голосом, носил летнюю поддевку тонкого сукна, очень перетянутую в талии, и вообще изгибался и кокетничал всегда по-женски, и любил рядиться в женские костюмы. Говорил всегда: «я пошла», «я вымыла белье», «я подоила коров» и т. п. И действительно, у него всегда в хатке была чистота образцовая, все работы исполнял сам.

Был еще один довольно глуповатый родственник Рышковых — Александр Николаевич, не знаю, как фамилия его. Звали его Шват-Шват, потому что он вместо «сват» говорил «шват». Ужасно некрасивый, с большим горбатым носом и губастый. Меня возмущало обращение с ним — пьяная молодежь, подкравшись к нему, такой давала ему щелчок в нос, что тот издавал как бы металлический звон; напавали его сивухой и сами напивались мертвецки и цели над этим Шватом:

Отцовский дом покинул я,
Травой зарастет.
Собачка верная моя
Завоет у ворот.
На крыше филин прокричал...

И даже нарочно купили чучело филина.

Он не мог слышать этой песни — всегда разревется и просит оставить. Но нет, они нарочно неистово над ним кричат, пока он, наконец, вырывается от них и убегает. Подобные оргии у мелкопоместных уже описывались у брата моего Вани.

Можно сказать еще про одного человека, который приходил к нам, обыкновенно, на зиму. Это бывший денщик отца, который служил с ним во время Севастопольской кампании, — горчайший пьяница-рыболов. Про него есть у Вани рассказ под названием «Байбаки».

Но я забежал несколько вперед. Нас с братом Юлием отвезли в Елец, в частный пансион для подготовки в гимназию, где мы провели очень однообразно и скучно с год. Дома же оставались в Бутырках наши родители и трое детей. Старший Костя, лет пяти, болезненный, очень бледный блондин с черными очаровательными глазами, за которые его прозвали вальдшнепом, сестренка Шура, лет трех, и мальчик Сережа, кажется, девяти месяцев. И вот как-то приезжает к ним сестра моего отца — старая девица, святоша, вроде бабушки Ольги Дмитриевны. Из усердия она помазала святым маслом всех троих детишек. Мать моя, конечно, не подозревала, что эта сумасшедшая тетенька предварительно ходила по дворам деревни Каменки и мазала этим маслом больных детей крестьянских. На второй или третий день все дети заболевают и на той же неделе умирают от крупа. Можно представить, каково это было пережить моей матери.

Не буду передавать в подробности жизнь нашу по переезде родителей к нам в Елец и далее в Воронеж, где родились брат Ваня и сестра Маша, и откуда на каникулы мы все уезжали в деревню, т. е. на хутор Бутырки. Начну с детства Вани и моей юности.

Хутор наш приходил в упадок, землю большей частью отец сдавал крестьянам, в хозяйстве же оставались две-три коровы и лошадей тоже немного. Себе в посев оставалось очень мало, и все вокруг заросло бурьяном, крапивой, татарками так же, как и сад. Но все это было как-то поэтично: глушь, тишина, только сычи нарушали по ночам эту дремоту, да вблизи, прямо за сараями, была масса перепелов и коростелей. Я любил охотиться за перепелами с сетью и трюкалками подзывать их. Со мной Ваня пристра-

стился к этой охоте, и мы с ним, половив вечернюю зарю, обыкновенно собирались уходить на утреннюю зорю дальше. Ночи стоят в это время короткие, вот я, бывало, говорю: «Ну я, брат, лягу в амбаре пока поспать, а ты не прозевай, буди меня, караул зорю». И вот, бывало, стоит прекрасная лунная ночь, и он не спит, бегаёт вокруг амбаров и не ложится, а как услышит первого перепела, будит меня, и мы с ним отправляемся целиком по ржам, по росе. Ещё темно, уж перед утром идем, выслушиваем, где лучший перепел. Так уходим за версту или более и там выберем лучшее место или лучшего перепела, растягиваем сеть, и я предупреждаю Ваню, чтобы сидел смирно, затаив дыхание при их приближении. И он, дрожа от нервозности и ожидания, замирает. Случалось даже так, что перепела окружат нас, и до того есть смелые, что иногда вскакивают на ногу и на плечо. Помню, взобрался один смельчак на голову Ване и там орет. Можно представить состояние Вани, — он с замиранием сердца в охотничьем экстазе ждет, пока они соберутся под сеть, и тогда по моему знаку вскакивает, вспугивает их. Они запутываются в сети, и тут уж мы их осторожно, но быстро, чтобы не выпутались сами, извлекаем и кладем в мешок, — тут восторгу уже нет конца. Опять продолжаем ловлю, перетаскивая иногда сеть в другое место. А тут уже заря разгорается, и они с еще большей силой и энергией кричат и перелетают. Но это по большей части скорохваты, а самые бойцы — те более осторожны, выбивают резво, не спеша, раза по три, и отличаются от тех скорохватов выдержкой. Он один иногда выделяется из сотни. Но с таким уже не промахнись: малейшая неправильность — и он сейчас же узнает и не пойдет, а во вторую зорю его уже не приманишь. При удачной охоте Ваня бывал в таком восторге, что подпрыгивая бежал домой. Там сажаем их в клетки. Если пойман ранней весной, то скоро закричит в клетке.

Мне было лет 17, я как-то пошел версты за четыре к двоюродному брату в деревню Каменку Вунинскую и, по обыкновению, остался там ночевать. Вечер был темный, тихий, мы сидели в доме. Прибежала к нам девчонка и говорит: «Выйдите-ка на двор, послушайте, кругом нашей усадьбы что делается». Мы вышли, слышим — за амбарами, в поле идет целая процессия с песнями, свистом, гиканьем, хлопаньем бичами, звоня в косу. Впереди, со свечами и образами, идет много народу, несколько женщин запряжены в соху. Нас предупредили, чтобы близко не подходили, иначе они могут и имеют право кого попало встречного убить или застегать кнутами до полу смерти и не будут отвечать — будто бы по закону старых древних обычаев. И вот видим: они, приплясывая, в одних рубашках, с растрепанными волосами, выкрикивают: «Нас восемь девок, восемь баб, девятая удова, мы опахиваем, обмахиваем, ты, коровья смерть, не ходи в наше село». И еще пели и опять повторяли: «Ты, коровья смерть, не ходи в наше село...» В это время была какая-то эпидемия на скотину, дохли коровы, и бабы, собравшись, решили предупредить или прекратить падеж. Во многих деревнях и селах бывали подобные дикие оргии, доходившие до экстаза и изуверства, — верили и рассказывали повсюду, что там, где подобное происходило, падеж быстро прекращался.

Перейдем опять к воспоминаниям про наш хутор Бутырки, или, как его прозвал отец, — Гуниб. Я описал его в летнее время года, а вот посмотреть бы и заглянуть в него зимой! Он весь бывал занесен глубокими снегами, которые сравнивали все заносами после недельных метелей. Ни конный, ни пеший не мог туда проникнуть, а если кто и рисковал к нам забрести, то трудно бывало его провести. Часто приходилось посылать работников с лопатами откапывать и прокладывать дорогу, так хутор был занесен — едва виднелись крыши в виде сугробов и макушки деревьев сада. Мы месяцами бывали отрезаны ото всего мира, и если не хватало необходимых запасов, то уже — терпи. Если же кто заезжал к нам, тот

переживал с нами эту горькую долю. Да, мало отличалась жизнь наша от жизни самоедов и других северян. Много я мог бы рассказать про наши семейные длинные вечера, да воздержусь — и так многое еще впереди. С каким нетерпением ждал я ранних признаков весны. Часто, бывало, влезая на чердак, смотрю в слуховое окно и жду — не покажутся ли грачи или ранние весенние птички, или, может быть, овраги уже наполняются полой водой и скоро зашумят по ним с могучим ревом обширные воды. Наш Гуниб бывал в это время окружен водой и становился как бы полуостровом. А Ваня, начитавшись Робинзона Крузо и про индейцев, мастерил себе затейливые дикарские костюмы или доспехи рыцарей вместе со своим преподавателем Н. И. Ромашковым, который у нас проживал.

Это был действительно незаменимый человек (конечно, трезвый, если же выпивал, то становился нестерпимым). Он имел неистощимый запас анекдотов и всевозможных рассказов, обладал колоссальной памятью, был человек вообще талантливый. Окончив Лазаревский институт, он затем был, кажется, на юридическом факультете. Не окончил его и в 22 года поступил учителем в гимназии — женскую и мужскую, — но после отставки по случаю пьянства уехал. Он превосходно читал, декламировал, излагал вполне литературно прочитанное, писал стихи, ограничиваясь, однако, только злободневными. Вообще, был он большой комик, умел рассказывать и строил при этом такие уморительные рожи, что все окружающие помирали со смеху. Играл на скрипке и гитаре довольно сносно. Когда же появлялся на столе черфь-ерыч (так он прозвал могарыч), то первое время бывал очень весел и принимался плясать. Однако этот черфь-ерыч быстро на него действовал, и тут уж он начинал ко многим придирааться, обыкновенно сучил кулаки и говаривал: «А я вот тебя сейчас в данлевизаж и на манную кашу отсажу», то есть в морду даст и выбьет все зубы.

У Вани был свой Пятница, когда он представлял из себя Робинзона. Когда же мы, после смерти бабушки, переехали в Озёрки, у нас там был под садом большой пруд, где они с товарищем по целым дням плавали в индейских костюмах на пирогах с шестами, крича: «Кикереки, кикерик, а аллигатор с соседней реки!» — и сражались стрелами.

Вернусь опять на свой Гуниб. Я уже говорил, что отец сдавал землю крестьянам. Один из них особенно остался у меня в памяти. Это зажиточный крестьянин села Рождества — Данила Алексеевич Сисин. Он был всегда такой благодушный, ходил в дубленом хорошем полушубке и большой шапке. Но иногда являлся и в более парадном виде — в большом, на вате, картузе, покрытом очень оригинально шкурочками селезневых головок. Он гордился тем, что это подарок одного богатого елецкого купца. Я часто ездил в село Рождество, и он постоянно встречал меня на пути от обедни. Выходил ко мне, зазывал к себе в гости, брал за повод лошадь и говаривал: «Не обездожь, родимый, заезжай». Усаживал за стол, но сначала показывал мне свое хозяйство. Действительно, хозяйство его было очень хорошим: на гумне, как говаривали, заблудись в одоньях, т. е. скирдах, далее — пасака колод 100, маслобойка, просорущка, амбарчики полны, а в них и муки, и ветчины, и овчин — всего в изобилии, прекрасные крупные заводские лошади. И вот скажет он своему приемному сыну: «А ну-ка, выведи, покажи барчуку жеребеночка». Тот выведет, да и боится — не удержать, но и есть что посмотреть, прямо — картина. Вороной, густой, что зарево, хвост, лет трех-четырех. Еще показывал мне: «Вот посмотри, какие у меня свинки, шесть штук, кормятся, громадные, страшно глядеть».

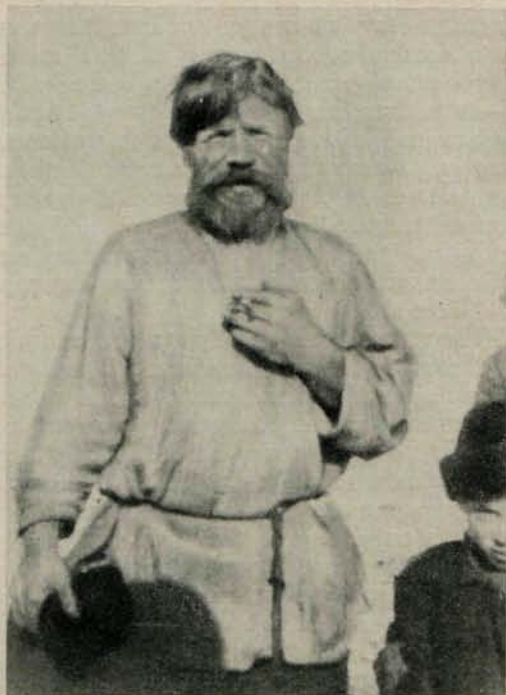
«Ну, пойдем, родненький, соловья баснями не кормят, пожалуй сюда в горницу, а там в избе душно. Вот уже всё приготовили, вот баба-то молодец». В горнице накрыто чистой скатертью и нарезано свежих пирогов, водки стоит графинчик и красненькой, достают ветчины жирной горячей,

КУТЕП-ПЕЧНИК
ИЗ ВАСИЛЬЕВСКОГО

Фотография, 1917

Прототип Егора из рассказа «Веселый двор»

Литературный музей, Москва



и яичницу с ветчиной, и студеньку, и творог со сметаной в обмочку, и все уговаривают: «Кушай, дорогой гостечек, не обездожь». — А когда станешь выпивать, скажешь: «Ну, за твое здоровье», — а он: «Кушай, кушай, сахар в уста». — «Ну, а сам-то что ж не выпьешь?» — «Я ведь для вашего здоровья только красненького и то только пригубить».

И не шьет, а потом меду подадут, а если престольный праздник, то и браги. И ведь не уедешь, чтобы не покусать, а он приговаривает: «Ведь мы вашим батюшкой весьма довольны, он нам земельку хорошую дает». И вот он однажды говорит:

— Я вот девку-внучку просватал, так ты уж не обездожь, приезжай на всю свадьбу, с гармонией, ты ведь, я слышал, большой мастак на ней играть. Да что тебе расскажу (когда вышел меня провожать), вот я не люблю, как говорится, сор из избы выносить, да уж тебе по секрету скажу. Малый-то вот, внучек, подрос и стал прибаловываться. Я замечаю, да до поры, до времени помалкиваю. Стал, подлец, во дворе в амбар заглядывать, верно, ключ подобрал, а я все вижу. Вот не поспал я, и стал караулить, притаился. А он насыпал мешок овса и думает: через сенцы — нельзя, увидят. Он его к воротам положил (а ворота-то ведь у меня всегда на замке ночью), а сам через сенцы, да и снаружи-то подворотнями, взялся за него, за шейку-то, да и тащит. Да никак не протащит и говорит: «Вот оказия какая, вчера больше был мешок и то протащил, а вот это-то не идет». — А я ведь его держу и говорю: «Да ведь, сукин сын, вчера-то ведь меня не было, а теперь-то я ведь на нем сижу». — Он как дунет, да бежать. Ну а на утро глаз не кажет, да уж вечером пришел, да ко мне в ноги: «Дедушка, родименький, прости Христа ради, век не буду». — Ну, для острастки потаскал за виски, пригрозил и говорю: «Дурак, ведь я для вас это все приобретал, с собой ничего не возьму в могилу». С тех пор и шабаш. Ну, ты никому не говори.

Я часто ходил в деревню Новоселки (это было от нашего Гуниба с версту) на улицу. Помню, раз как-то приехали с поборухек слепые (там в од-

вом дворе были почти все слепые, а с ними ездили и другие слепые). Смотрим и слышим: составилась из них целый импровизированный концерт; сидят они в кружке — один играет на жалейке, другой на скрипке, сестра их — в ложки, еще один — на гармонике губной, а еще один слепой сидит и, раскачиваясь, подпевает на мотив плясовой. Бывал я часто в этой деревне на улице и был любим всеми ребятами, так как многие были моими сверстниками, а тем более, что я по ихнему понятию уж очень хорошо на гармошке играл и немного играл на бубне. Они всегда целой оравой приходили за мной на хутор, и мы шли все весело и дружно. Ни одна свадьба не обходилась без меня. Я дальше напишу про свадебные, как они называют, беседы.

Наступает осень со своими хмурыми днями и темными ночами, в которых есть тоже своя прелесть. Люди рабочие управились с хозяйством, пришло время отдыха, начинаются повсеместно престольные праздники и заодно справляют свадьбы. И мы с ребятами, пробыв некоторое время на улице, отправляемся на девишник к просватанной девушке. Все девицы сидят за столом, перед ними на блюде лежит витушка, сделанная из теста, фигурно сплетенная в виде торта, смазанная маслом с яйцами, блестящая; в середину ее воткнута елочка, украшенная разноцветными ленточками и цветами. Девы сидят все наряженные, а невеста, по обыкновению, лежит на печке неумытая, непричесанная, плачет, или, вернее, голосит, причитает про свою девичью свободную долю, оплакивает прошлое, не зная, что ее ожидает в будущем. Девы поют, но так грустно — жаль свою подружку — и думают: вот-вот и их ожидает в скором времени такая же участь. Хозяева хлопочут за приготовлениями к свадьбе, в ожидании жениха с поезжанами. Иногда это длится вплоть до полуночи и даже позднее.

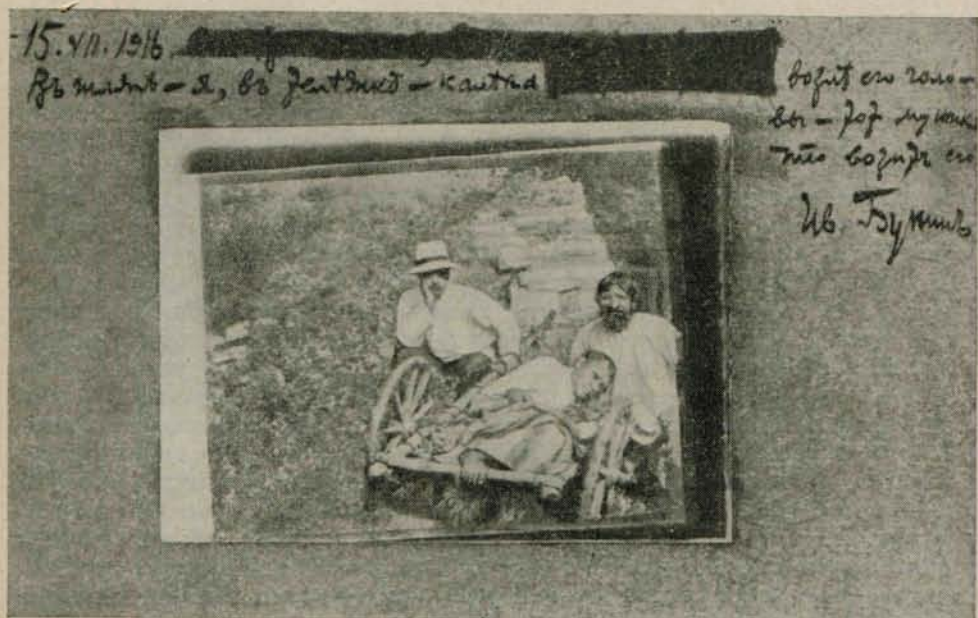
Мы являемся с гармониками, с бубном, иногда и со скрипкой, приносим девкам подсолнухи — гостинцы, вносим с собой оживление и радость. Начинается пение уже другого характера, из-за стола выходят плясать, подпевать парами, а иногда — парень с девицей. Но вот накрывают стол для девиц, тут же подают им ужин с красным вином. Иногда подносят и ребятам, но большей частью подносят нам в сенях, во время уже начатой беседы. Поужинав, девицы встают из-за стола и, помолившись, поют так:

Ну, спасибо тому,
Кто хозяин в дому,
Много пили, много ели,
Много сахарили

и т. д.

и принимаются убирать невесту. Мы уходим в сенцы, а там опять игра с теми, кто не участвует в свадебном пире.

Наконец, послышались колокольчики — едут поезжане с женихом. Тут, обыкновенно, главную роль играют сваты со свахою. Начинаются (при входе в сени) разные церемонии и переговоры с хозяином, хозяйкой и сватами со стороны невесты, довольно курьезные пререкания, как бы торговля. Но это все давно известно и не раз, вероятно, описано, потому воздержусь от подробностей. Когда же все успокоится и все войдут в хату и усядутся за столы, игрицы — девицы и молодые бабы — поют, пляшут, т. е. обыгрывают невесту с женихом и сватов, словом, всех до последней старухи с стариком, а им подносят и дают деньги. Жених с невестою обычно сидят или за другим столом, или же в другой горнице, или в пуньке. Нас угощают, а мы стоим в сенях и дожидаемся, пока выйдут девки. Я ожидаю, когда выйдет моя любимая (она тоже часто бывала в игрицах). Вот вышла, я ее ловлю, заходим впотьмах в угол куда-либо, она вся раз-



БУНИН И КРЕСТЬЯНИН-КАЛЕКА

Фотография, 1916

С надписью: «15.VII.1916. В шляпе — я, в тележке — калека, возле его головы — тот мужик, что возит его. Ив. Бунин»

Музей И. С. Тургенева, Орел

горевшаяся, обрадуется, охватывает меня, залезает под поддевку, прижимается и говорит: «Ишь ты, какой студеный. Приходи к нам сейчас в избу, я скажу жениху, чтобы тебя позвали, ты там поиграй, а мы тебя обыграем». И убежала, дверь отворилась, оттуда слышны отрывками свадебные песни, вроде того:

Манерно ступает,
Чуллок не марают,
Сапог не ломает,

прихлопывание в ладоши и стук каблуков по полу. Немного погодя вышел хозяин с фонарем и с бутылкой водки, стал подносить ребятам. Поднес мне и зовет: «Да что же ты тут стоишь? Пойдем в хату». Я иду и меня там обыгрывают:

Да кто ж у нас молод,
Да кто ж неженатый,
Ой, люлюшки люли,
Да кто ж неженатый,
Белый, кудреватый?
Он по полу ходит,
Манерно ступает...

А уж моя-то из всех выкрикивает и машет платочком и бросает искры на меня глазами.

Еще расскажу про одного крестьянина деревни Бутырки — Ивана Маркелова Горячева. Очень просто относятся крестьяне к смерти — еще не успеет человек отойти в вечность, как его спешат обмыть и положить на лавку под святые. Так было в данном случае и с Горячевым. Мы с братом Юлием, зайдя случайно во двор Горячева, застали трогательную картину:

сидит Иван на конике, видимо, ему очень трудно и ужасное у него настроение. Он потребовал ему подать икону, взял ее, перекрестился, приложился и строго, торжественно позвал, прежде всех, своего сына Симфона (правильнее Ксенофонта). «Ну,— говорит очень слабым голосом,— подходи сюда, видишь, я почувствовал свой смертный час и потому желаю с вами проститься и благословить вас на благополучную, долгую, счастливую жизнь». Тот подошел, стал на колени, три раза перекрестился, делая при этом земные поклоны, в то же время старик три раза осенил его иконой, тот приложился к иконе трижды и поцеловал у отца руку и в губы и то же велел сделать всем членам семьи. Прodelав все это, старик еще раз перекрестился и, глубоко вздохнув, лег навзничь на этом же конике. Мы тут ушли, и далее оказалось, что его обмыли и положили на лавку под окном, под святые. Положивши, все убрались в другую, через сени, горницу приготовляться к приезду священника и причта. Прошло довольно порядочное время в ожидании священника, тем временем Иван Горячев, полежав, вероятно, в забытье, потянулся, приподняв руки вверх за голову, нащупал под образами бачок с вином, поднес его ко рту и потянул в себя этой благотворной влаги. Она забулькала и оживила его. Немного погодя, он повторил еще, и так раза три. Конечно, влага эта быстро его согрела и привела в веселое расположение духа. По приезде священника все входят и еще из сеней слышат, что кто-то там так грустно, тихо поет. Входят и видят — Иван сидит на лавке, подпер рукой голову и распевает:

Ах, ты, полынь, ты моя полынь
 Полынь горькая трава...

Каково же было удивление их при виде подобной картины. Он велел подать закусить и вместе с батюшкой закончили эту панихиду веселой беседой. Так после этого он прожил еще несколько лет.

Детьми мы с братом Юлием часто ходили по нашей маленькой деревне Бутырки, состоящей всего из пяти дворов: крайний двор — Горячева, второй — Аникея, третий — Максима, четвертый — рыжего Фалюшки и последний — Наума, по прозвищу «Ковырай». В особенности интересовало нас, когда бывал там престольный праздник и съезжались гости — родные из других деревень. В это время, понятно, наша скучная деревенька оживлялась, слышались песни, игры и даже пляска.

Был у нас удалец Максим Корнеев, ниже среднего роста, очень широкий в плечах, с черными усиками и эспаньолкой, необыкновенный работник и на все руки мастер: и тележку сделает или санки — на разгладенье, а станет косить, хоть какая ни будь буйная рожь, он косил сороковую десятину в день. Но вот если бывал пьян, становился зверем. Мы как-то заглянули к нему в избу, он откуда-то приехал пьяный с двоюродным своим братом Василием, по прозвищу Казак. Видим, сел на лавку и так грозно крикнул жене своей: «Ну, али не видишь, что муж твой приехал, что должна делать?» — «Да я не знаю», — говорит та робко. Он ей в морду сапогом: «Не знаешь?» — Кланяться велит. Она ему в ноги поклон, а он: «Не понимаешь, стерва? Разувать должна». Та бросается разувать его, а он кричит: «Не так». — И опять бьет.

Казак, глядя на него, гаркнул своей: «А ты что же стоишь, как пень, не встретила меня как следует!» Та, по своей злобе, что-то огрызнулась. Как он бросился на нее, схватил за косы и потащил в сени.

В деревне Озёрки один отставной солдат на деревянной ноге так бил свою жену: запрыгал ее на пристяжку и всю дорогу драл ее ремненным кнутом и на остановках кормил ее теплым лошадиным пометом.

Расскажу теперь про тетушку свою, старую Варвару Николаевну, про которую писал уже брат Ваня, называя ее Шаманом по ее внешности и чудачествам.

Жила она в деревне Каменке, в своем флигельке. Чудачества она свои проявила еще в ранней молодости. Так, например, отдали ее в институт. Как-то повезли она на каникулах в деревне, окончился срок каникул, ее опять повезли в учебное заведение. Железной дороги тогда не было, возили ее в своем экипаже, т. е. в тарантасе с фордеком. Кучер, покормив лошадей, запряг и отправился обратно домой. Приехал, вдвинул тарантас в каретный сарай, повел лошадей в конюшню. Тут встретила его нянька, стала расспрашивать про барышню свою и соболезновать о ней — дескать, она, наверно, плакала. Стоят и разговаривают в каретном сарае. Кучер стал протирать экипаж, поднял фордек и вдруг, к величайшему своему удивлению, видит — из-под фордека, проснувшись, вылезает барышня. Конечно, никто не мог подозревать, что она там запряталась и всю дорогу проспала. Нянька, конечно, была обрадована, но тетки, которые были ее воспитательницами (она была сирота), ее пробрали за это и на другой день опять велели отправить, уже под надзором старого дворецкого. Образование ее, конечно, не долго продолжалось. По тогдашнему времени считалось, что надо изучить французский язык, игру на фортепиано и т. п. Постигнув все это, она возвратилась в свой скит, где ее тетки — старые девы — жили совершенно монастырской жизнью. Тетка ее Олимпиада Дмитриевна вела в Каменке все хозяйство. Была она, как говорили, очень крупная особа, имела при том особый зычный голос, за что ее прозвали Соковнин (это бывший когда-то орловский губернатор, отличавшийся большой строгостью и громогласностью). Эта Олимпиада Дмитриевна была настолько грузная особа, что раз как-то, когда ей вздумалось прикинуть себя на весах, где вешали хлеб, и она села на доску весов, а на другую стали класть гири и наложили 12 пудов — она их перевесила, но ковромысло лопнуло и стрелой ее ударило в голову. Ее подняли чуть живую, принесли в дом, она от этого удара пролежала год на смертном одре и скончалась, настолько исхудав, что, говорят, нечего было в гроб положить, словом, один скелет. Варвара Николаевна осталась круглой сиротой. От сильного воздержания во всех отношениях и, кажется, несчастной любви к одному поляку-офицеру Коносевичу, за которого тетки воспротивились выдать ее замуж, она пришла в полусумасшедшее состояние. Ее лечили разные знахарки, но без результатов, хотя прожила она долго, кажется, лет 85.

Внешность ее и костюм трудно поддаются описанию. Она обыкновенно повязывалась каким-то грязным, неопределенного цвета платком, при встрече всегда со всеми целовалась. Мой отец (ее брат) вечно отстранялся от ее поцелуев, говоря, что она непременно выколет когда-нибудь ему глаза своим тонким крючковатым носом. Она никогда не зажигала огня, говоря, что ей и так светло из окон Петички (его дом — напротив ее флигеля). Петичка этот был ее племянник. К нему она всегда ходила и там играла очень бегло на фортепианах старинные, давно забытые всеми увертюры, экосезы, лансье, вальсы, польки, да и более серьезные вещи, но, не выдерживая никогда одного, перебегала на другие и кончала веселыми. При этом у нее вертелась голова во все стороны, а в такт она прихлопывала своим огромным башмаком и подпевала, например:

Колодезь, мой колодезь,
Студеная водица...

Я не помню далее, но отрывками помню:

Эх ты верная, манерная, сударушка моя,
Сокрушила, иссушила добра молодца, меня.
Ты пустила сухоту, по самому животу... и т. д.—

все на веселый, плясовой мотив.